

ФРИДЛ

ЕЛЕНА МАКАРОВА



Новое
Литературное
Обозрение

Елена Макарова

Фридл

«НЛО»

Макарова Е. Г.

Фридл / Е. Г. Макарова — «НЛО»,

ISBN 978-5-4448-0357-8

Роман написан от первого лица. Художница и педагог Фридл Дикер-Брандейс пересматривает свою жизнь после того, как ее физическое существование было прервано гибелью в газовой камере. В образе главной героини предстает судьба целого поколения европейских художников, чья юность пришлась на Первую, а зрелость на Вторую мировую войну. Фридл, ученица великих реформаторов искусства – И. Иттена, А. Шёнберга, В. Кандинского, и П. Клее – в концлагере учит детей рисованию. Вопреки всему она упорно верит в милосердие, высший разум и искусство. Елена Макарова – писатель, историк, искусствотерапевт, режиссер-документалист, куратор выставок. На ее счету свыше 40 книг, переведенных на 11 языков.

ISBN 978-5-4448-0357-8

© Макарова Е. Г.

© НЛО

Содержание

Предислание	8
Осколки древних амфор	26
Мерцающее пятнышко	31
Часть первая	32
1. Замрите, фройляйн Дикер!	33
2. Чем больше смотришь на часы, тем меньше остается времени	38
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Елена Макарова Фридл Роман



Ее фотографии не похожи одна на другую, ее картины не похожи одна на другую – но я узнаю ее везде. Каким образом?

Ее искусство, столь разнообразное по жанрам и технике, дает ли оно представление о «лице художника» или лишь о чертах этого лица? Сама себя она ни к какому течению не причисляла, искусствоведы отвели ей нишу в «Новой вечности». Отчего ж не в «Новой Вечности»?

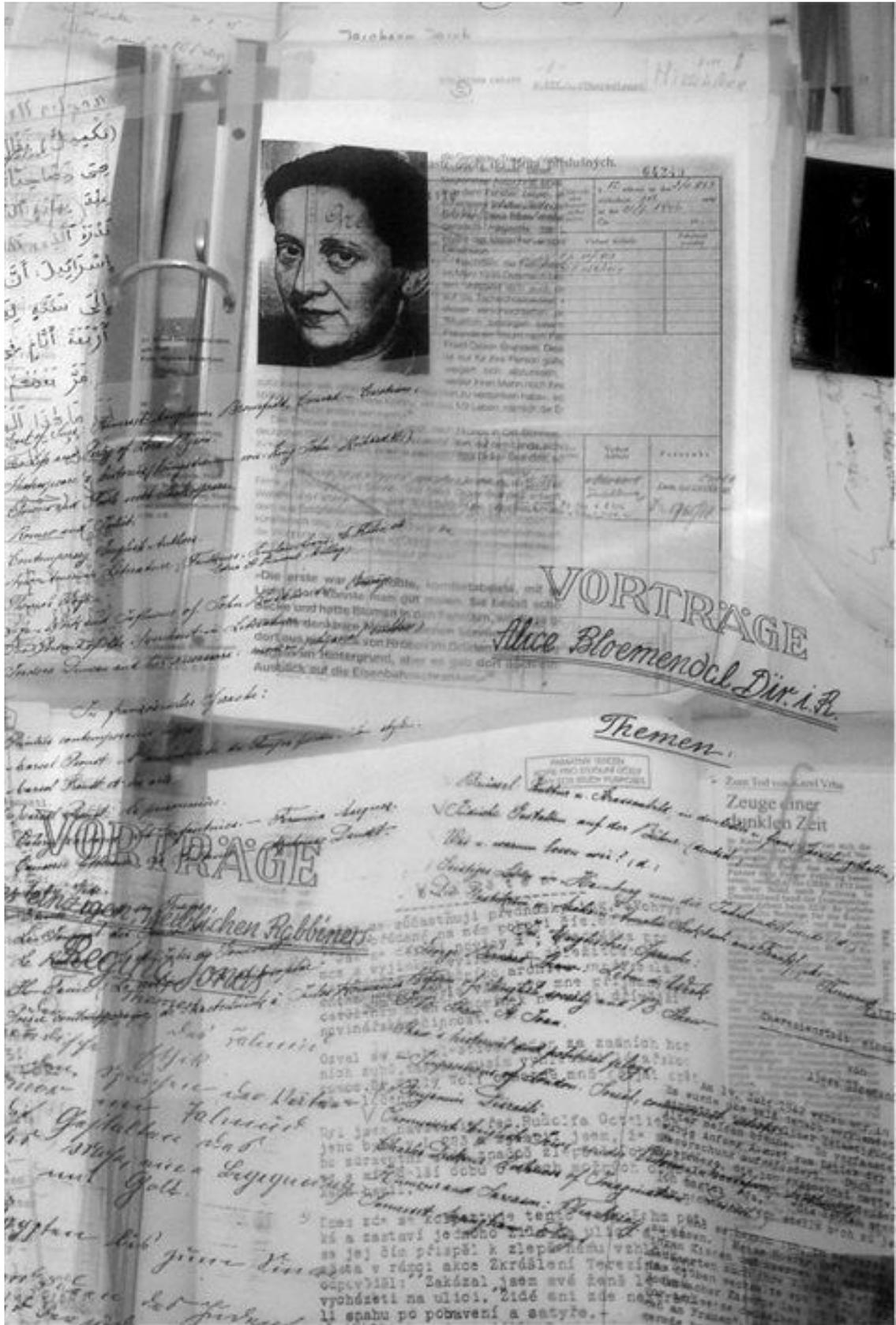
Результатом каждого последующего шага у Фридл является некое произведение, несущее в себе черты прошлой и будущей работы. Нигде не поставлена точка, все через запя-

тую. По отдельно взятой работе трудно судить о диапазоне ее искусства. Неструктурируемая структура? Саму ее ничто не удовлетворяет, она переписывает картину по десять раз, зная, что в конце концов загубит ее, но отступить не может, вечером дает себе обещание не притрагиваться, утром хватается за кисть – снова не то! Что делать тому, кто каждый день живет наново, тому, у кого не происходит накопления опыта, тому, для кого обыденность является волшебством? Открытая каждому встречному и замкнутая сама в себе – известная характеристика, я и сама такая, может, потому и брежу Фридл?

За картины, которые теперь оцениваются в огромные суммы, она назначала цену в зависимости от затраченного времени. У нее не было доверия к таланту, как к чему-то данному природой, вроде красивых глаз. Упрямая, глядящая исподлобья, она и после смерти пытается дойти до сути. Желание проникнуть в тайну вещи сводит ее с ума. И меня вместе с ней.

Ученики помнят ее голос. Под звуки ее голоса они рисовали спирали, вжимали уголь в лист, дергали с места, как паровозы, и притормаживали, когда голос стихал. Кажется, в полном объеме она снискала понимание у детей, в Терезине.

Ее жизнь оседает в моей, я научаюсь думать ее мысли, сумбурные – о времени и ясные – о пространстве. Вслушиваюсь в угольные прочерки и цветные мазки, вчитываюсь в письма с отсылками к Кафке, Гегелю, Клее, Кьеркегору, египетскому искусству и рембрандтовской тьме.



Предпослание

*Книга всегда пишется сообща,
даже если соавторы не ведают друг о друге и их разделяет
промежуток в пятьдесят лет.*

Фридл Дикер-Брандейс, Гронов, 1941

3.3.1997. Иерусалим. Компьютер перед окном в цветущий сад. Справа на стене – постель Фридл, вид сквозь деревья, букет полевых цветов Анны Сладковой, подруги Фридл, – срочно написать в Наход, как она там. Слева – шероховатый лист в форме кочерги, в Израильском музее мы осваивали производство бумаги старинным китайским способом, – на нем желтая звезда на ржавой булавке – подарок брата художника Дольфи Аузенберга, убитого в возрасте 30 лет в Освенциме. Рядом обнаженная на коленях – старческий рисунок Вилли Гроага, директора терезинского детского дома девочек L-410, где жила и работала Фридл, того самого, который после войны вывез из Терезина в Прагу два чемодана детских рисунков. Около обнаженной – плакат с выставки в Яд Вашем; акварельное, едва намеченное лицо ребенка («Фридл без спросу взяла у меня альбом, прошлась по бумаге кисточкой, и все...») обрамлено маленькими фотографиями детских лиц. Слева, на расстоянии протянутой руки, железные стеллажи с книгами от Баухауза до Терезина и толстые темные папки с надписями на корешках: «Баухауз-эксперимент», «Фридл-Баухауз», «Вилли Гроаг», «Дети», «Транспортные списки», «Культурная жизнь», «Неизвестные художники», «Театр», «Швенк-Кабаре», «Лекции», «Дневники», «Детские журналы», «Стихи и проза», «Эдит Крамер», «Виктор Ульман», «Музыка», «Письма», «Цветы любви 42 года», «Эстетика и хаос»...

Зима, 1997. Визен, дом на берегу Швейцарского озера.

Здесь живут Адлеры, Юдит и Флориан, дети твоих подруг – Анни и Маргит. В этом доме я бывала не раз, но теперь, наконец, появилась возможность отснять все твои работы, рассыпанные по музеям и частным коллекциям. Центр Визенталя взял на себя финансирование проекта.

«Придется перенести съемки, – сказала Юдит, – я пыталась вас предупредить, но вы уже вылетели из Израиля. У Флориана флегмона десны». И из-за этого три человека со всей аппаратурой должны отменить поездку, которую было так сложно организовать. У нас все расписано по дням. Швейцария, Австрия, Италия, Чехия.



- Ему назначили операцию.
- Нельзя отменить?
- Отменить?! Какая наглость!

И все же Юдит смилостивилась над нами.

Трехэтажный дом полон твоими картинами, набросками, письмами. Но что самое невероятное, мы обнаружили на чердаке железную коробку, а в ней – маленькие ролики восьмимиллиметровой пленки. Штук пятьдесят. На такой формат снимали в двадцатых годах. А вдруг ты там? «У нас была любительская камера, и мама снимала». Если так, Анни обязательно должна была снять и Фридл! Мы послали выбранный наугад кругляш в Локарно, единственную тогда компанию, которая переводила восьмимиллиметровую пленку в современный формат, с него – на видеокассету. Так вот, именно в этом кругляше и была Фридл! Мы ринулись переводить в читаемый формат все содержимое железной коробки, но Фридл больше нигде не было.

Теперь я знаю, как ты ходишь, как здороваешься за руку, как улыбаешься, как вздрагиваешь от неожиданности. Анни застигла тебя врасплох во время завтрака. Ты подносишь ко рту бутерброд – и видишь направленную на тебя камеру. Растерянная улыбка, огромные испуганные глаза. Это двухсекундное событие мы расстригли на 30 кадров и поместили на стене в холле дворца Харрах, где происходила твоя первая персональная выставка. Верхний кадр с испуганным лицом, а нижний – с растерянной улыбкой. А за руку ты здороваешься с искусствоведом Гансом Хильдебрандтом, судя по всему, в начале 1928 года в Вене.

Перед тем как Юдит повезла Флориана в Цюрих на операцию, мы сфотографировали их для каталога. Флориан – в кресле, Юдит – на подлокотнике.

Теперь это фото висит в кабинете Флориана. Он умер во время операции флегмоны. Генуя. Хильда Анжелини-Котны встречает меня на вокзале.

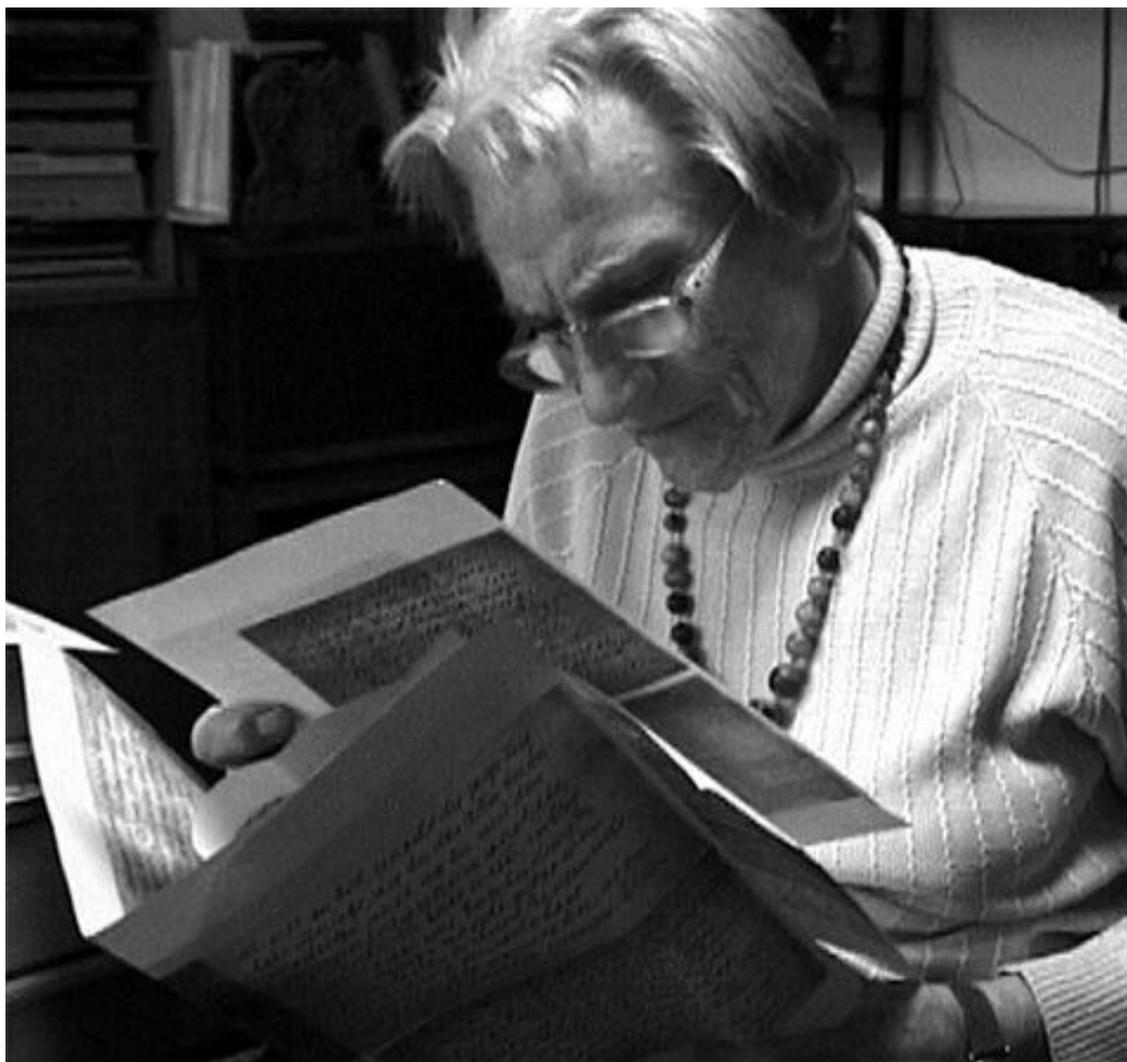
Мадонна! Беллissimo!

Нам нужен переводчик, я не знаю ни немецкого, ни итальянского, она же, в коммунистическую свою бытность, учила русский, разумеется, чтобы читать Ленина в подлиннике, но теперь от русского и ошметков не осталось. Даже «здравствуйте» забыла.

Я приехала фотографировать материал для книги и выставки.

Мадонна!

Хильдина большая голова, обструганная основательным немецким куклоделом, крутится во все стороны. Шарниры, привинчивающие руки и ноги к туловищу, уже изрядно разболтались, и Хильда ходит так, словно бы толкает перед собой тяжело нагруженную телегу.



Видела бы Фридл свою подругу!

Я загружаю вещи в старую железяку. Такой машине место в музее, но не на улицах Генуи, в устьях подземных тоннелей и разливах шоссе, – столько мигания и мерцания в темноте, не отличить свет фар от светофоров, – но Хильда несется вперед, под крики и ругань водителей.

Мадонна!

Мы познакомились с Хильдой в 1989 году в Праге. Потом она была у нас в Москве, в городе своей мечты. Она так и не рассталась с верой в социализм. Просто в России не умеют работать. Вот вы жалуетесь, что у вас плохо с продуктами, – а перед окнами поле – почему не заведете корову?!

В квартире над дверью выложено мозаикой имя «Анжелини». На стене – картины Фридл: Дон Кихот и Ленин, Фукс изучает испанский, евангелическое кладбище, портрет Марии, белые хризантемы; на книжной полке, в нише, фотография Фридл, сделанная в 1936 году Хансом Бекманом. Хильда живет в мире Фридл, спит с ее письмами под подушкой.

Аморе миа! Любовь моя!

Наконец-то она улыбается. Доехали. И уже смеется-заливается, видимо, вспоминая задним числом нашу аферу.

– Мадонна! – всплескивает она большими руками и показывает, как мы ехали – тормоз, я падаю назад, трогаемся с места, вперед, о, диа! Диа – по-английски «дорогая», это она знает.

Разумеется, она купила все для спагетти, десять сортов каких-то сыров, томато, пармиджано... Кухня малюсенькая, высокие стулья, как в баре, от плиты до стола рукой подать. Я тру сыр, мне выдана терка, она режет помидоры и поглядывает за кастрюлей.

Фридл, аморе миа... любовь моя... Бедная девочка... Повера рагацца... Фридл, ля Виенна, дас увертюре... Вундершен, аусштелюнг вирд беллиссимо... Выставка будет прекраснейшей... Цитравелли, цитравелли, тринк трак тро...

Спагетти, совершив последний кувырок над дуршлагом, ныряют в кипяток. Уно момент! Хильда вонзает в бутылочное горло штопор, похожий на шило, вынимает пробку и разливает по фужерам красное вино – уне, дует, трио – брависсимо, Фридл!

Зима, 1997. Водняны, у Чешских Будеевиц.

Мария Витовцова объяснила по телефону, как до нее добратся, сказала, что поставит в духовку курицу, к семи будет готово. Город в зимней тьме напоминал темные ящики, расставленные один за другим по вертикально-горизонтальному плану, лишь некоторые освещались изнутри слабым светом. Названий улиц не видно, спросить некого, позвонить неоткуда. Но город тот. И это утешает. Пятиэтажки и девятиэтажки не пускают к себе чужаков, чтобы попасть в дом, надо знать код.

Я решила вернуться на шоссе. Оно освещено, там могут быть люди. Но мне-то нужны не люди, а один-единственный человек...

«Один-единственный человек» поджидал меня у остановки.

Мария Витовцова, с песиком. Про песика она предупредила по телефону. Что есть такой, смирный, ласковый, не кусается. Она знает, когда приходит автобус из Чешских Будеевиц. Да замешкалась с курицей и подошла поздно.

Скользко, Мария видит плохо, я взяла ее под руку: далеко идти?

Да вот дом! У нас далеко идти некуда!

Дома тепло, я получила теплые тапочки, беззвучные. Одна беда – курица остыла. Но ее можно подогреть. Значит, не беда.

И зачем же пожаловала я из Израиля в воднянскую темень? В февральскую поземку...

Объяснила. Из-за ее младшей сестренки Сони.

Мария принесла альбом. Вот тут Соня и вся наша семья. Но сначала курицу. Положила только мне.

Она курицу не ест. Видеть ее не может. После войны работала на конвейере, пять лет кур потрошила. В четыре утра вставала на поезд, с поезда на фабрику... Кровь да потроха. После всего, что случилось... А вы кушайте! С дороги надо покушать.

Муж умер пять лет тому назад. Собирал открытки с видами городов. Переписывался со всем миром. Два чемодана осталось, не знаю, куда их. Выбросить жаль. Он над каждой открыткой дрожал. Коллекция! На последние гроши покупал марки и открытки, рассылал по разным адресам и ждал ответа от получателей. Чтобы штемпель стоял заграничный, сердился, когда печать закрывала марку... Может, вам в Израиль отдать? В надежные руки.

Альбом рядом. Но надо покончить с курицей.

Сонины рисунки в музее висят, их на открытках печатают, она девочка была хорошая, правда. Красивая... Да и родители у нас вон какие были... Молодые совсем! Я им в матери гожусь...

Мария подперла рукой подбородок, точно как на фотографии с Соней, теперь видно, что и она не очень-то изменилась с тех пор. Те же глаза, беззащитно близорукие, на фотографии она без очков, для красоты.

Спросить ее сейчас про транспорт 6 октября? Или утром?

Но и утром не знала, как подступиться. Она – из тех нескольких, кто ехал с Фридл в одном поезде и выжил.

Мария провожала меня до остановки. По дороге я спросила ее про транспорт 6 октября. Она пообещала написать все, что помнит. Говорить трудно. Значит, правильно, что вечером не спросила. Она хоть душу отвела, рассказывая про свою жизнь, не все же с песиком беседовать!

Письмо от Марии ждало меня в Иерусалиме. Она написала его сразу, как только вернулась домой.

«...Вечером 5 октября нас погрузили в поезд, не в скотовоз, а в очень хороший. Правда, из-за вещей в вагоне было тесно. Нас было 1550 человек, в основном женщины и дети. Еще матери с младенцами, которые родились в Терезине. Это мы сочли добрым знаком – не станут же немцы убивать грудных детей! Мы верили, что едем в новый лагерь, к отцу. Беспокоились только за вещи. На всякий случай мы надели на себя все, что только можно, и очень страдали от жары, тем более что погода стояла теплая. На терезинском перроне нам велели снять с шеи номера. Какая радость – значит, мы больше не числа. Рано утром 6-го поезд тронулся в путь. Каждому на дорогу дали батон хлеба и что-то вроде колбасы. Мы думали, что вечером уже будем на месте. Где это место, никто не знал, и все постоянно об этом говорили. Иногда мы ненадолго засыпали и тут же просыпались в испуге, все было как-то странно. Когда поезд останавливался, мы наполняли водой бутылки или кружки. Пробираться в уборную через тюки и чемоданы было настоящей мукой.

А поезд все шел, сначала в направлении Дрездена, затем дальше. Ночью поезд остановился в каком-то городке. Мы слышали звук разрывающихся снарядов, видели полыхание огня. Прежде мы никогда не видели бомбардировки. Если бы в наш поезд попали, о раненых никто бы не позаботился. В конце концов мы с Соней уснули, а поезд все ехал... Польша. Куда мы едем? Явно не туда, куда отправили мужчин. Может, они в лагере у Дрездена?

Сообщение, которое принес кто-то из уборной, было для всех страшным ударом. Там, на стене, за грудой вещей, было накарябано “Освенцим”. Все бросились утешать друг друга; многие, в том числе и я, про Освенцим никогда не слышали. Мама начала сомневаться в том, что в Освенциме мы встретимся с папой.

На чешской и немецкой территории нам давали пить, а в Польше – нет, якобы вода отравлена тифом.

Было воскресенье, 8 октября. Транспорт прибыл в Освенцим в полдень. На перроне стояли вооруженные эсэсовцы с собаками. Мы и вздохнуть не успели, как налетели заключенные в полосатой одежде, стали отпирать двери вагонов и орать: “Вон, быстро вон! Оставить вещи на месте, они пронумерованы, все получите потом!” С испугу мы с Соней вырвали рюкзаки, а мама – сумочку, и так мы вышли... Мы были в первом вагоне. Не прошло, как мне казалось, и десяти минут, как мы очутились перед группой эсэсовцев, на селекции. Менгеле показал на меня и еще на одну девушку – направо. Я остановилась, мама стала просить его, чтобы он отпустил меня с ними. Но он закричал на нее: «Вон!» Я обернулась и увидела их в последний раз. Сонечка плакала, я слышала ее плач, когда они уходили. Там, между рядами колючей проволоки, шла дорога...»

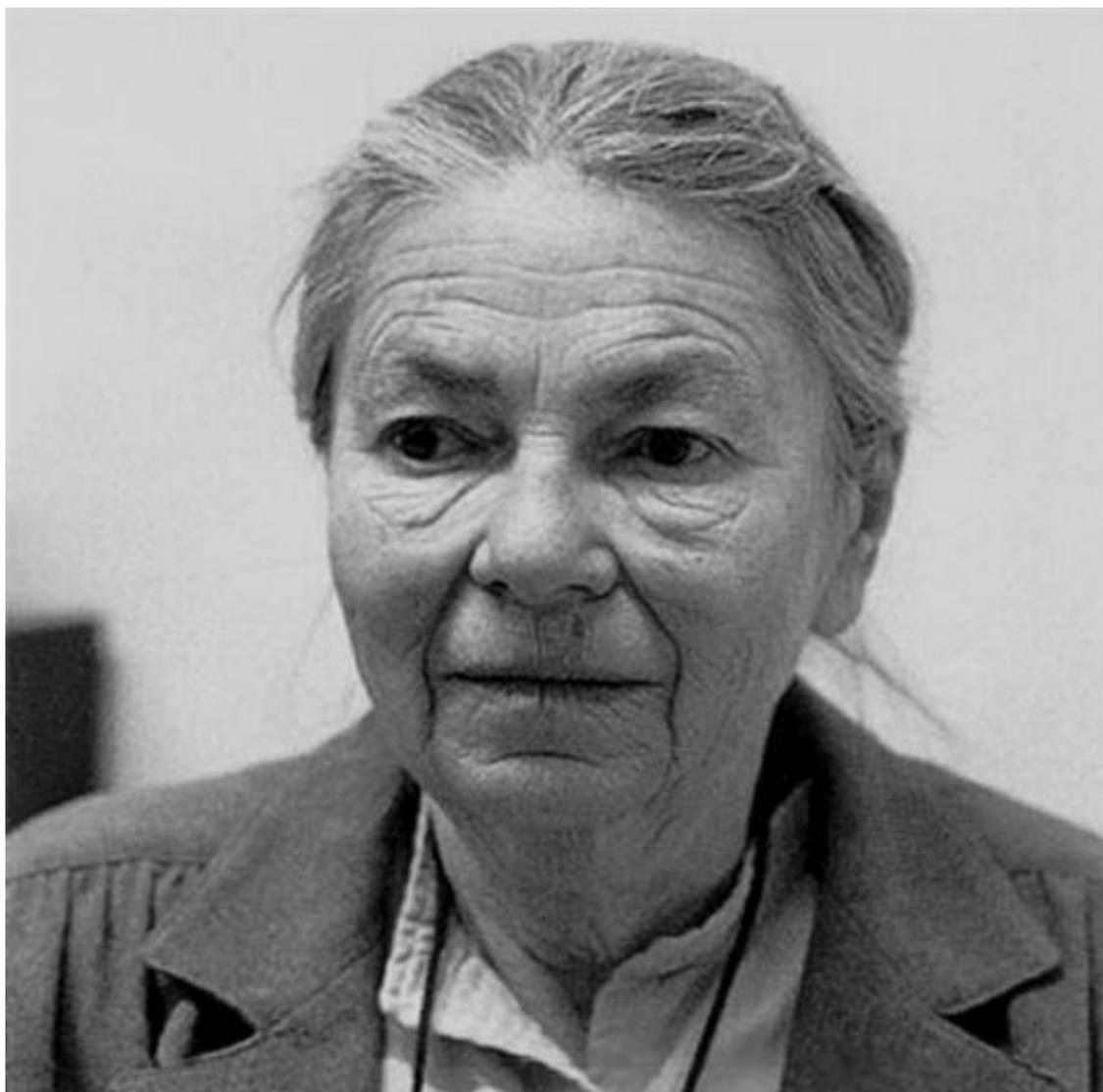
Лето, 1998. Грундлзее. У Эдит Крамер.

Неподвижное озеро стиснуто горами. Луна еще за хребтом, ее свет обрисовывает контуры темных зубчатых гор. Эдит на каноэ, работает веслом, взбалтывает тяжелую черную воду. Мы плывем, а вернее, скользим по озерной глади концытысячетней ночи. И вдруг резкий свет – луна обрушивается на острия вершин, выбрасывает на воду белый ковер; мы берем курс на млечный путь.

Вернувшись из дальнего путешествия, мы растапливаем изразцовую печь, вешаем мокрые вещи на спинку стула и отправляемся в погреб за шнапсом.

– Не думай, она вовсе не была ангелом. Вот я тебе расскажу. Как-то раз она разозлилась на мое пальто. «Что это за балахон!» Я сказала: его мне сшила мама. А она: «Выкинь! Это не твой покррой». Пальто и впрямь было уродским, мама шила его в глубокой депрессии, накануне самоубийства. Вместо того чтобы сгладить неловкость, Фридл рассердилась и чуть было не выгнала меня с урока. Иногда она бывала невыносимой... В Терезине она изменилась. Почему? Да потому что там происходила настоящая драма. На драматизацию жизни не оставалось ни энергии, ни времени...

Фридл дружила с мамой... Часто приходила к нам, менялась с ней платьями. На маме все сидело, она была первоклассной портнихой и модницей. Мамины платья Фридл были не по фигуре, и она так по-детски огорчалась, глядя на себя в зеркало. На самом деле она была вполне хорошенькой...



What a great life! – радуется Эдит. Щеки у нее пылают. Странно, молодая ее душа обитает в изношенном теле, а полудохлые души расхаживают вокруг, прикрытые гладкой кожей. Осень, 1998. Иерусалим.

Мы опять переехали. Из окна виден Израильский музей, белые кубы, начиненные многоцветным искусством. Я уволилась из музея, чтобы полностью принадлежать тебе, чтобы написать достойную книгу, которая должна стать опорой и подмогой для будущих исследователей. Никакой лирики, ничего личного. Выдержанно, аргументированно. Но не скучно. Таков заказ крупного американского издательства.

Жара. Мозги плавятся, тело липнет к стулу. Материалов – на целые тома. То одно вспомнишь, то другое, вот, например, история про Ждарки, куда ее?

Лето, 1998. Деревня Ждарки. Хутор Зада на вершине горы.

Я еле успеваю за восьмидесятилетней Зденкой Турковой. В ней цыганская кровь – черные глаза сверкают в темных окоемах, смуглая кожа стянула старые кости, щеки ввалились. А у тебя на картине – Зденка литая, за щеку не ущипнешь, а глаза, как и нынче, жаркие угли. Глаза не стареют...

Добрались до верху.

Твои деревья на месте. Стоят как стояли. Сквозь три раскоряки просвечивает та же картина, что висит у меня на стене, – долина, за ней, вдалеке, холмы с игрушечными домишками на склонах. Старый Книтл, похожий на рогатину, обутую в сапоги, гоняет хворостинной ленивых индюков. В твою бытность у них были козы, и вы с Павлом снимали у них хлев, в низине под горкой. Теперь на месте хлева сын Книтла поставил добротный кирпичный дом, убежище от ветров, которые гуляют здесь, на вершине, свистят и гудят всегда, даже в ведро, как сейчас, – в стойкой неподвижной жаре кольшутся ветки, волнами ходит трава и звенят провода.

– Вон там они жили, в низинке, – однажды иду к ним, а из их окна черный дым валит, – рассказывает Зденка. – Это Фридл кнедлики хотела сделать... Кто же тесто жарит! А я не жарила... Как тогда оно на сковороду попало? Ох уж она смеялась! Не скажу, чтобы она была рассеянная, нет, но хозяйство ее донимало, да еще эти приступы со зрением... К Рождеству она моим дочкам связала носки, крючком, с инициалами, а в носки насыпала конфет. Красивые носочки, по сей день целы-невредимы...

В доме уютно, топится печь под иконой святой Варвары, по обе стороны две твои картины – вид сквозь деревья и хлев в зеленых зарослях.

– Нравится? Приезжайте на лето. Им у нас тоже нравилось.

Зденка кивает. И у нее в Находе квартира и участок, места хватит. И мы чаще будем собираться... С господином Книтлом, поди, лет двадцать не виделись...

Книтл распахивает дверь, ветер врывается в дом.

– Я уж с вами не пойду, – говорит Зденка, – сил надо подкопить на обратную дорогу.

Мы с Книтлом идем проведывать индюков – глупая птица, за ней глаз да глаз нужен.

– Вот тут они и жили... Переоборудовали хлев в квартирку. Моя жена кашеварила на фабрике Шпиглеров, оттуда носила еду, и мы делились с Брандейсовыми. Потом Шпиглеры сбежали, работы не стало. Павел выучился на плотника. Мне помогал – косил, столярничал... С непривычки то косой порежется, то с лестницы свалится... А пани все рисовала. Тихая была такая. Правда, с нами особо и не поговоришь – мы с женой два слова знали по-немецки, а она столько же – по-чешски. Еще у них была собачка, не помню, как звали, вот она и ходила с собачкой по горам, с этюдником... А потом, помню, вышел указ, что евреям нельзя держать собак... Они как раз возвращались в Гронов. Я говорю пани: оставьте ее здесь. Нет, прижала к себе песика, и так они и пошли вниз, с горы, Павел, нагруженный как вол, а пани его – с папкой и песиком на руках. Другой раз без собачки приехали. Оказыва-

ется, пришлось все же им ее отдать. Подруга забрала, что ездила к ним из Германии. Немка. Но летом им здесь было хорошо.



К нам сюда дачники не ездят. Мы бы за гроши старый дом сдали, да место такое – всем ветрам нараспашку. Коли надумаете приехать – отдадим дом задарма. Как члену семьи.

Книтл уважает меня. Приехала, нашла дорогу из далекой заграницы, да еще и по-чешски понимает. Мы пропустили по рюмочке и взялись его альбом с фотографиями рассматривать. Вдруг там Фридл?

Это кто?

Это мы с женой в первую супружескую ночь.

Кто же вас снимал?!

Сам. Поставил аппарат – и нырк в постель.

Все тут есть: и виды, и родственники, и кони, и козы... Неужели, кроме двух картин, ничего не осталось?

Остаться-то осталось... Да мы с женой все после них сожгли. Время было такое.

Что же вы сожгли?

Бумаги. Кто знает, что в них было. По-немецки не читаем. Письма, тряпки, тетрадки...

Осень, 1998. Лос-Анджелес.

Гостиничное окно на шестнадцатом этаже. Между широкими магистралями, на островках суши, высятся небоскребы. После встречи с издателями хочется выпрыгнуть из окна. Но оно опломбировано.

Книгу, которую я про тебя написала, отвергло издательство. «Ты не Набоков, твоя литература никому не нужна. Разбери все на составные и выстрой по хронологии. Издадим элегантный кофе-тейбл каталог: хорошая печать, много работ, отрывки из писем, воспоминания очевидцев».

А если составные не сложились, а сплывались?

Забуть про рукопись, уже переведенную на английский и отданную на рецензию Эдит Крамер, ученице Фридл, известной художнице и искусствотерапевту. Ее восторженный отзыв осчастливил бы любого автора. Расторгнуть контракт с престижным издательством? На это не пойдет продюсерша. Хуже того, новый вариант должен быть готов через

три месяца и отдан на перевод, теперь уже на немецкий, – открытие выставки состоится в Вене.

Что б такое сотворить? Съесть яблоко. Обычно я ем яблоки целиком, вместе с сердцевинкой. А тут решила его разрезать и промахнулась, угодила острием японского ножа в артерию. Кровь забила фонтаном, забрызгала лифт и дорогу к стойке с дежурной, я просила у нее йод и бинт, а она вызвала «скорую помощь», из которой выбежали три космонавта с локаторами и рацией, погрузили меня на носилки, включили сирену. В приемном покое шоколадная негритянка сжала двумя пальцами то место на ладони, откуда била кровь, наложила тугую повязку и велела до вечера держать руку вертикально. Можно было это сделать в гостинице. Нет, космонавты не лечат, они перевозят и дают кислород, если нужно. Мне было не нужно. Когда негритянка заматывала мою ладонь, я заметила, что у меня грязные обкусанные ногти. Как раз неподалеку оказалась китайская маникюрная. Я зашла туда, мне дали прейскуронт, очень длинный, и я ткнула пальцем в «нейлз», т.е. ногти. Села за пустой столик. Тотчас появилась маленькая китайка с подносом, на котором стояла миска с горячей водой и какие-то причиндалы. Она нежно взяла меня за руку и погрузила ладонь в мыльную воду. Я расслабилась, можно даже сказать, забылась, и вдруг вижу – мне приклеивают ногти! Я этого не просила! Пытаюсь вырвать руку, но китайка не отпускает. Я говорю ноу, она качает головой и приделывает третий ноготь. Тут я взорвалась. Вскочила, побежала к кассе с растопыренными пальцами, но мне указали на графу в прейскуронте, мол, сама выбрала.

Привели начальницу, та ткнула пальцем в графу «нейлз». Кат ит! Отрежьте! – взмолилась я. Широко расставленные, как у попугаев, глаза превратились в пуговички – отрезать? Нет, сначала нужно все ногти приклеить, поносить так пару дней, привыкнуть... Я представила себе встречу с директором издательства, как я вхожу в кабинет с забинтованной рукой и такими вот ногтями, – и меня разобрал такой смех, что начальница бросилась к телефону. Вызывать трех космонавтов для усмирения? Что делать? Уйти с тремя приклеенными ногтями, но как я их отстригу завязанной рукой? Все же мир не без добрых людей. Китайка, сидящая за столиком на противоположной стороне, подозвала меня к себе. Постепенно ситуация прояснялась – в этой маникюрной с правой стороны наращивали ногти, а с левой срезали. Я попала на неверную сторону. Не сориентировалась. Чтобы в мире царил порядок, нужно поддерживать порядок в каждом его уголке, в любой конторе, в любой маникюрной, в любом общественном туалете, нарушение порядка приводит к непредсказуемым последствиям. За этим учрежденным в верхах порядком следит чиновничий аппарат. Среднее звено. Открыть вентиль, закрыть вентиль. Нижнее устраняет последствия: вынести трупы, сжечь трупы...

Новый, 2000 год. Иерусалим.

Мы привыкаем к войне. Осенью я рассказывала тебе о ней чуть ли не в каждом параграфе. Теперь она стала общим множителем в уравнении повседневности.

Когда мы сюда приехали, в 1990 году, под нашими окнами арабы пасли овец, арабки торговали виноградом и инжиром, а по субботам бедуины приводили сюда верблюдов и за пару шекелей катали местную детвору. По утрам мы гуляли с детьми по склонам гор, амфитеатрам виноградников, а вечерами я приходила сюда одна. Я сидела на высоком камне и смотрела в ультрамариновую ночь, сверкающую желтоватыми огнями. Бейт-Лехем – сгусток света в ночи, и свет его белый, а Бейт-Джалла желтая... Ромашка на фоне густой синевы. Однажды на Рождество мы въехали в Бейт-Лехем на машине. Ты, способная оседлать дюрезовских коней и мчаться на них вдоль обрыва, можешь себе представить, что испытала я, попав в картину вселенской ночи и вифлеемской звезды.

Теперь Бейт-Лехем и Бейт-Джалла отгорожены от нас бетонной стеной. Стреляют из святых мест, оттуда, где началось новое летоисчисление.

Первый год нового тысячелетия мы встречаем у друзей в Гило.

– Стреляют, – говорит хозяйка дома.

– Нет, это салют.

– Да нет же, стреляют!

Мы уже не можем отличить стрельбу от салюта.

– Разбирайте пирожки, накладывайте салатики... Подставляйте бокалы!

Стреляют.

Ура! Мы в новом тысячелетии!

Весна, 2000. Чешский Крумлов.

Реальность не дает себя осознать. Как с этим справляются писатели? Ведь когда они пишут одно, в их жизни разыгрывается что-то совсем другое. Художникам проще. Канонада им не мешает. Шиле в военном мундире рисует Чешский Крумлов. Крыши домов, склонившиеся над узкой улицей, разноцветное белье на балконах...

Теперь здесь его музей. Неподалеку плотина, вода шумит днем и ночью.

24 контейнера с картинами, рисунками, мебелью, тканями, чертежами, рисунками терезинских детей и еще много чем благополучно добрались из Граца в музей Эгона Шиле. Огромный средневековый монастырь отнюдь не оснащен по последнему слову техники. Все надо таскать на себе, с цокольного этажа на первый. Ни грузовых лифтов, как в Граце, ни аккуратных рабочих. Нам дали группу «работающих цыган». Гордость города – трудятся на славу и не крадут. Действительно симпатичные. Но когда помощник чуть не вколотил гвоздь в тобою сделанную раму, а симпатичная уборщица выбросила в мусорный ящик мои туфли вместе с серебряной фольгой, которой мы покрывали стену, дабы создать матовый баухаузовский тон, – мы решили все делать сами.

Лето, красота, завтрак на берегу реки, столы с зонтиками, туристы, местные отдыхающие... Хочешь кофе?

На открытие выставки прибыл автобус с выжившими, среди них было несколько твоих учениц-старушек и сестра Сони Шпицевой, ее рисунки ты наверняка помнишь.

Всех пассажиров автобуса я знаю в лицо, всех, и не раз, навещала. А вот эту женщину в ярко-розовом костюме я никогда не видела. Она сидит на лавочке посреди зала, толстые ноги перебинтованы эластичным бинтом, отекающие руки сжимают набалдашник палки. Подняться она не может, но обнять меня должна. Госпожу Казимурову привез в Чешский Крумлов сын. Из Праги. Чтобы познакомиться со мной и попрощаться с жизнью. И с Фридл. «Я была красивой, и Фридл меня рисовала. Она называла меня принцессой. Думала: может, на выставке себя найду... Посадили меня здесь, и ни с места, так и буду сидеть, пока сын не вернется».

Я помогла ей подняться, и мы вышли из здания музея в сад. Маленькое кафе, цыгане в честь Фридл играют на скрипках. Она смотрит на нас с плаката, свежая, молодая, рядом с ней запыленный Эгон Шиле. Он давно здесь висит и нервничает – устал на всех глазеть, а Фридл довольна. Она еще не привыкла к славе.

Госпожа Казимурова запивает слезы минералкой, трет глаза розовым вышитым платочком, все у нее розовое, лишь седина голубоватая.

«Ее невозможно было не любить, ее нельзя было убивать! Необыкновенная это была душа, всепонимающая. Я познакомилась с ней в Гронове, евреям было запрещено ездить, и Эльза, сестра Лауры, попросила меня поехать в Гронов и передать что-то, что нельзя написать в письме. Лаура и привела меня в дом к Фридл. Я была потрясена самим видом ее квартиры, тем уютом, который, кажется, невозможно создать в таком помещении. Это был иной мир. Фридл была милой и очень непосредственной, открыта любому.

Между нами была большая разница в возрасте. Мне было двадцать, ей сорок. Муж ее был спокойным, дружелюбным, но не чета ей. Это между нами. Я привезла с собой булочки с маком, мама напекла в дорогу, и талоны на продукты, у евреев были ограничения на все. В первый раз я ночевала у Лауры. Но потом останавливалась только у Брандейсовых. Никогда

и нигде мне не было так хорошо, как подле Фридл. В ней был шарм, все были ею очарованы. Я обожала ее картины, но об этом я еще скажу, только напомните... Я с ней делилась своими личными проблемами, она с огромным сочувствием меня выслушивала, иногда давала советы... В восемнадцать лет я влюбилась в еврея, двоюродного брата Лауры и Эльзы Шимковых. Это была моя первая любовь. Мои родители никогда бы не дали разрешение на брак. Я по нему так тосковала... В 39-м году он уехал в Словакию, я к нему туда иногда вырывалась, ну и забеременела... И тут случилось несчастье. Летом 42-го его убили нацисты, я тогда была на сносях, и из всех этих страданий вышло еще одно, ребенок умер при родах. Как Фридл любила мамины булочки с маком...

При нашем последнем горестном свидании она отдала мне двадцать своих картин. Две из них попросила подарить Аничке Млеинковой, на выбор. Мне она подарила натюрморт с бидоном. Остальные картины велела раздать, кому хочу. Пастель «Вид из окна на гроновский вокзал» я подарила доктору Яну Крейчи, он теперь живет в Торонто.

В 1945 году вернулись Лаура, Эльза и Павел. Ему я отдала все оставшиеся картины, включая два наброска обнаженной, которые Фридл с меня нарисовала. Не знаю, куда делись остальные, но эти я отдала Павлу.

У Лауры были прекрасные цветы Фридл, у Эльзы – портрет Лауры, сейчас он у меня. Лаура умерла в 1959 году от злокачественной опухоли. Эльза умерла лет пятнадцать тому назад от инфаркта. Она не оставила после себя никакого завещания, так что ключи от ее дома, которые мне отдали в больнице, я передала нотариусу. От всего этого я и сама слегла. Портрет Лауры мне прислал нотариус, думая, что я родственница Шимковых. Я храню его как память о Фридл».



Вернулся с прогулки сын пани Казимуровой, водрузил ее на переднее сиденье и увез. В кафе на столе я нашла ее мокрый от слез платочек.

Осень, 2000. Иерусалим.

Мы переехали в третью по счету квартиру. Из моего окна мало что видно, оно слишком высокое. Справа от меня тот же стеллаж с папками, разве что число их разрослось в геометрической прогрессии, им не хватает места. Да и мне здесь тесно и неудобно. То и дело слышна

стрельба, и это не одиночные выстрелы, а минометы. Израильская армия ввела на территории танки. Она держит под прицелом Рамаллу, Газу и Хеврон. Театр военных действий.

Моя приятельница, арабская журналистка, живет в Бейт-Джалле, откуда палят из минометов. У нее полный дом детей, а мужа нет. Ей страшно. Она звонит мне, поболтать, но я еле ее слышу.

Давай напишем что-нибудь. Как женщины, против войны. Мы с тобой не враги, правильно? Мы лично друг другу плохого не хотим, правильно?

Правильно.

Осень, 2000. Париж.

Здесь ты была дважды: с композитором Стефаном Вольпе в 1921-м и с мужем Павлом в 1937-м. Возможно, ты проходила по старинной парижской улице Белых Манто, мимо высокого серого дома, где нам сняли апартаменты на время подготовки выставки. Это в десяти минутах ходьбы до музея. Перед центром Помпиду нужно свернуть направо... Но зачем тебе проделывать этот путь? Мы сами к тебе ходим.

Дизайнер Георг Шром становится все более похож на твоего возлюбленного Франца Зингера. Лысеет, курит без передышки. Носит точно такой же плащ. Я купила себе в Париже шляпу, как на твоей фотографии. Спросонья Георг начистил коричневые ботинки черным гуталином. Как бы между нами не вспыхнул роман! Нет, жизнь не терпит прямых повторений. И ты не я, и Георг не Франц, скорее, мы касательные к окружности, которую очертила твоя судьба в этом мире.

Мы завтракаем на кухне у стойки бара. Некогда рассиживаться. До прихода техника-осветителя надо успеть допечатать недостающие подписи для витрин и закрыть их. И начнется самое интересное – превращение выставки в театр. Действом управляет Георг, моя же роль – замерять уровень освещенности: твоей графике предписано 40 люксов, детским рисункам – 30.

Окна музея глядят во внутренний двор, мощный булыжником. Молодой зритель-алжирец говорит, указывая на «Двойной портрет»: «Художница смешила их, пока рисовала, вот они и подперли рты руками. Чтобы не расхохотаться».

Лампа Франца Зингера, висевшая в прихожей ателье Георга Шрома, складная кровать с фридловской обивкой и стулья, спроектированные Зингером, шкафчик, поворачивающий свои полки на четыре стороны света, gobelены, сотканые Фридл, стали экспонатами. Кошка, нарисованная ею и привыкшая жить в ателье у Шрома, не находила себе места на выставке. Мы отнесли ее в раздел графики тридцатых годов, но она и туда не вписалась. В день перед открытием она наконец успокоилась в углу у шкафчика.



– Фридл выкинула ее в помойное ведро, – рассказывает Георг французским журналистам. – Анна Сабо, архитектор ателье «Зингер-Дикер», достала рисунок из ведра и увезла с собой в Будапешт. Оттуда – в Лондон. В конце концов эта чудесная кошка досталась мне!

– Какова роль Фридл Дикер-Брандейс в проектах ателье?

Вопросы к Георгу. Он отвечает за архитектуру и дизайн.

– Фридл – мультиталант. Ее живое присутствие видно во всем, к чему бы она ни прикасалась.

Расплывчатый ответ.

– Как сохранился архив ателье?

– Он достался мне от тети – архитектора Польди Шром, которая работала с Францем и Фридл с 1929 по 1938 год. После аншлюса тетя больше не могла оставаться в ателье. Все, что там находилось, плюс вещи из ателье Франца Зингера на Шадегассе она спрятала в комнате для проявки фотографий. Во время войны в ателье жила семья нацистского полковника. К счастью, запертая комната их не заинтересовала. В 45-м Польди вернулась и нашла все в сохранности.

Ты обрастаешь историями. Не снятся ли тебе контейнеры по перевозке со специально установленным для произведений искусства режимом температуры, инженеры по свету, рабочие, зрители, публика... В снах, если они тебе снятся, ты выходишь из лагеря, и никто за тобой не гонится, ты делаешь несколько шагов и оказываешься с какими-то незнакомыми тебе людьми на улице Белых Манто. Женщина в шляпе и лысеющий мужчина в начищенных гуталином ботинках подхватывают тебя под руки и ведут на выставку, и там ты видишь себя, глядящую сквозь занавеску на тобой же созданный мир...

В американском посольстве в твою честь дали прием с арбузами, семгой, ананасами и чем только не, и, чтобы люди нашли дорогу к столу яств, на лестнице установили указатель «Фридл Дикер-Брандейс ресепшн».

А вот тебе гастрономический привет из еврейского музея:

«Фридл Дикер Брандейс (1898–1944)

Меню – с 14 ноября по 5 марта 2001 года.

Блюда из колбасных изделий с корнишонами – 39 фр.

Блюда из копченого лосося – 39 фр.
Селедочный паштет с гарниром из картофеля – 39 фр.
Блюдо из сырых овощей и фруктов – 35 фр.
Штрудель (яблочный, маковый, ореховый) – 25 фр.
Стакан водки – 25 фр.
Напитки – 15 фр.
Кофе, чай с мятой – 12 фр.»
Зима, 2001. Иерусалим.

По Бейт-Джалле открыли огонь. Жителям Гило велели выключить свет. В Бейт-Джалле тоже. Теперь евреи и арабы проклинают друг друга в потемках. Арабская журналистка больше мне не звонит. Ее телефон тоже не отвечает.

...ты там сидишь одна и старательно и упорно работаешь... жаль, что я не могу завести граммофон и поставить для тебя прекрасную увертюру Леонора или просто тебя приласкать...

Танки у христианских святынь, танки у иудейских святынь, танки у мусульманских святынь... Отказавшись от визы, ты сослалась на Декарта: «Убегая, вы уносите страх с собой». Тогда скажи, как избавиться от страха, не убегая?

Не всегда нужно действовать, зачастую достаточно понимать.

Страх возникает там, где теряется ощущение правильного направления. (Сказать по правде, чтобы написать эти строки, мне понадобилось гораздо больше мужества, чем для всего сделанного ранее.)

Весна–лето, 2001. Швеция, Германия.

Введена новая единица скорости. Вместо отношения расстояния к времени – отношение занятости к времени. При сумасшедшей спешке время развивает скорости, непомерные для сознания. Из памяти улетучиваются слова. Их место немедленно занимают другие, за улетевшим словом не угнаться, оно уже крепко засело в чьей-то чужой голове, а в чьей – неизвестно.



После Парижа мы переезжаем в Стокгольм, а оттуда в Берлин. В Берлине ты будешь жить в музее Баухауза. Там тесновато, и, чтобы освободить для тебя место, работы твоих учителей, Иттена, Клее и Шлеммера, уберут в запасник.

В Стокгольме ты не бывала, готовься к приключениям. Будешь жить в историческом музее – среди викингов, деревянных мадонн, средневековых рыцарей и крестоносцев. Недалеко море – большущие корабли на пирсе, мосты, пристани, причалы...

Человек из Стокгольма пожертвовал на твою выставку 45 тысяч долларов. Прислал мне по факсу номер загородного телефона, «на случай, если что-то случится с Фридл». На всякий случай вот даты открытия выставки. Стокгольм – 29 марта 2001 года, Берлин – 15 июля 2001 года.

2001–2002, Иерусалим.

Вид из окна все тот же, то есть, собственно, никакой. Война не прекращается. В сентябре 2000-го я написала, что поскольку Израиль, а точнее Иерусалим, – это мифологический центр вселенной, то и ненависть, вспыхнувшая здесь, станет вселенской. Этот абзац я вымарала, как и прочий бред. Текст потерял ясное направление, он расслоился не только на нас с Фридл, не только на Фридл от первого и третьего лица – в нем началась война. Пишу под музыку минометов, договариваюсь о выставке Фридл в Японии в момент взрыва нью-йоркских близнецов-небоскребов...

Во всем виновата твоя тревога, основания для которой, увы, окружающие обстоятельства, правда также и то, что я отношусь к этому легче, хотя думаю, как вы все...

Ты в концлагере рисовала цветы. Правомерно ли сравнивать состояние после террористических актов с тем, что чувствовали заключенные, проводив очередной транспорт на восток?

Пустота... И в ней затаенная, постыдная радость – не меня! То же и здесь. Остался жив, близкие и друзья живы, ну и ладно.

Весной 2002-го на углу нашей улицы взорвали кафе «Момент». Именно в тот момент я пересекала Французскую площадь, где проходила демонстрация левых за свободу Палестине. Евреи, представители движения «Мир сегодня», держат на вытянутых руках транспаранты, а там, кварталом ниже, валяются останки людей, пришедших пообедать. Наверное, нет такого народа, который каждую неделю взрывается в автобусах, кафе и супермаркетах и при этом ратует за свободу своих врагов.

Сирены «скорой помощи», кафе оцепляет полиция... Не помню, как я оказалась дома. На экране телевизора я увидела последствия. Погибли одиннадцать человек. Я могла бы быть двенадцатой, если бы не засмотрелась на демонстрантов.

Лучше расскажу тебе про фиолетовые анемоны (напоминают альпийские подснежники, так что представляешь, о чем я говорю); они растут вокруг охристых дырчатых камней, а то и прямо из расщелин. Представь себе разлитую в ярко-зеленой траве фиолетовость, желтенькие пятнышки лишайника сверкают на серебристо-серых ребрах каменных глыб, ярко-коричневая земля и зеленая трава усеяны низкорослыми маками (тоже разновидность анемонов). А над всем этим яркоцветьем – корявые оливковые деревья и синее небо. Ботанический сад по соседству с рощей, после пяти туда можно просочиться через лаз в заборе. Чего только не насочиняла природа, воскликнул бы Иттен, увидев зеленые цветы в виде блюдец, насаженных на невидимый стержень, заморских красоток в ожерельях из мелких белых колокольчиков, вверх чашечками... Помнишь, как он «водил вас в Рай» – ботанический сад, чтобы там изучать образование форм движением?

В данную минуту я абсолютно удалена от всех, и в этом мы схожи с пчелой у оконного стекла, разница лишь в том, что у меня нет выбора, мое сознание усыплено... человек, который не боится, чаще всего поступает правильно: я бы выбрала открытое окно... (вот она нашла его и так красиво улетела)...

Пчелы уснули, да воздух жужжит. Вертолеты кружат над Иерусалимом, охраняют зыбкий ночной покой. Но я и во сне не нахожу себе места.

По версии берлинской ясновидящей, в предыдущем рождении я погибла в Освенциме... Была ли я тобой или твоей ученицей, пока не ясно. Но если в шесть утра я подставлю ладони под кран тыльной стороной и стекающую с них воду соберу в пол-литровую банку, я получу ответ.

Я проспала.

2009, Хайфа.

Мы уехали из Иерусалима. Теперь мое окно смотрит на море. Если встать из-за стола, виден порт, куда мы 20 лет тому назад приплыли с Кипра на большом белом корабле. После всех твоих выставок (Вена, Грац, Чешский Крумлов, Париж, Атланта, Стокгольм, Берлин, Токио, Саппоро плюс еще какие-то четыре японских города, в которых я не была, Лос-Анджелес и Нью-Йорк) кончилась эта война. Потом были еще две войны, Ливанская и в Газе. Сейчас наступило временное затишье. Справа от меня все тот же стеллаж с папками, их прирост в последние годы несколько сократился, зато теперь целую полку занимают книги и каталоги, которые я написала во время временной разлуки с тобой.

Уже нет на свете ни Анны Сладковой, ни Вилли Гроага, ни Хильды Анжелини-Котны, сохранившей для потомства твои картины и письма о жизни и искусстве, а твоим лагерным ученицам уже за восемьдесят.

Одна ты молодеешь. Каждое утро я получаю от тебя, теперь уже совсем юной, послания из Веймара, Берлина и Вены, написанные в поезде, в кафе, в театре...

Теперь я даже рада, что та, первая книга так и не увидела свет. Потому что наконец-то, после двадцати лет ожидания, я получила доступ к письмам, которые ты писала в молодости.

Меня бросило в дрожь, когда я увидела твой почерк. Если хочешь, могу немедленно приехать на 3–4 дня в Мюнхен. Посылаю тебе мой любимый последний рисунок и целую тебя, твои руки и любимое раненое сердце. Отправляю немедленно.

В то самое время, когда пришло твое письмо, я читала житие одного монаха, где речь шла о грехе уныния, который есть плод отчаяния и неверия. Сей монах смог освободиться от этого греха и потому попал в рай. Желаю и тебе того же, моя любимая. Ах, почему у нас с тобой нет бога с именем, чтобы я могла бы напомнить тебе о Нем. Прости, я ревнива и зла и злоупотребляю твоим прощением.

Прежде люди жили во славу Божью, отчего же теперь они потеряли мужество и покой?..

Это – простое письмо. Но есть и такие, над которыми корпят переписчики и переводчики, пытаясь докопаться до смысла. *«В этом есть смысл – и это бессмыслица!»*

Сегодня, просидев полдня над какой-то пьесой в полстраницы длиной, я взмолилась и позвонила знатоку средневековой персидской литературы. Он знает множество языков, расшифровывает и переводит на русский те твои письма, которые я получила от Юдит Адлер, дочери твоей подруги Анни, после двадцати лет уговоров.

Происходящее в пьесе ученый объяснил мне со свойственной ему предположительностью.

«Действующие лица, по-видимому, носят рифмующиеся имена Рут (Ruth) и Тут (Tut), возможно, даже Руттут и Тутрут: в первой фразе во втором лице упоминается Руттут, потом она же фигурирует в третьем как Рут. Игра слов раскрывается в первой и последней репликах:

“Это ты, то бредущая, то покоящаяся, Руттут?” (“Bist Du es Schweifende Ruhende, Ruthtut?”)

“Рут лежит в твоей основе и действует у меня” (“Ruth liegt bei Dir zu Grunde tut bei mir”).

Здесь обе части имени приобретают значение, причем Рут, мне кажется, подразумевает глагол ruhen – “покоиться, бездействовать”; таким образом, речь идет о противопоставлении женского пассивного (“Рут – ruht”) и мужского активного (“Тут – tut”) начал, причем в каж-

дом из действующих лиц оба начала соединены, но одно преобладает: Руттут – “бредущая, покоящаяся” (но Рут все же на первом месте). В общем, идея счастья как гармонии двух начал, сплошной инь-ян.

Что касается мотива моста, смерти как возвращения к себе, то на память приходит зороастрийский миф о мосте Чинват, соединяющем мир живых с миром мертвых, на том берегу умершего встречает его собственная душа в облике женщины; праведника встречает, ясное дело, красавица, грешника – ведьма (впрочем, там есть одно противоречие: грешник моста пересечь не может и падает в преисподнюю, видимо, ведьма ждет его там, я эти подробности подзабыл). Соблазнительно было бы предположить, что эти мотивы – результат влияния Иттена с его “Маздазнаном”, но я сомневаюсь: во-первых, Фридл, по-видимому, относилась ко всему этому делу с большой иронией, во-вторых, само учение Маздазнана имело крайне мало общего с реальным зороастризмом, хотя отдельные мифологические мотивы ученики Иттена вполне могли усвоить – соответствующие тексты были к тому времени давно изданы».

Я положила трубку и затосковала. Сколько тут пластов, сколько еще читать и изучать, жизни не хватит... При этом пока никто не стреляет, напротив, из-под праздничного шатра на крыше – у нас нынче праздник Кущей – доносятся молитвы.

Не падай духом, когда тебе тяжело, я всегда с тобой; что о тебе знают другие! Я стану для тебя матерью, сестрой и возлюбленной, и прежде всего той, которая не только жалеет, когда тебе плохо, но заботится о тебе и верит в твои способности. Твоя Фридл...

Ты-то веришь! Зато издатель, теперь уже московский, которого я упредила, что не могу сдать книгу в срок – разбор ста страниц неизвестных мне доселе писем требует времени, – расторг со мной договор, теперь я должна вернуть ему семьсот долларов и писать в стол. Сперва я огорчилась, теперь, напротив, рада. Писать, не рассчитывая на публику, куда приятней.

Насчет «способности». У «способности» нет выражения, она отрабатывает повинность: собирает по архивам осколки судебных, выискивает очевидцев и ездит к ним, где бы они ни жили, с магнитофоном и фотоаппаратом, организовывает твои выставки, читает лекции, в конце концов, преподает искусство по твоей системе, у «способности» нет ничего своего, она – швейцар, который открывает двери в твой мир; порой весело расшаркивается перед посетителями, а порой зевает им вслед.

Но и у «способности» бывают моменты, когда она проникает в зазеркалье. Там-то ей и приходят на ум безумные догадки – только не смейся!

Почему я боюсь, что надо мной будут смеяться? Так вот, смейся не смейся, а слова из заковыристой пьесы, явной пародии на восточное глубокомыслие, обращены ко мне.

Ты привязываешь канат к камню и бросаешь его на другой берег. ...Ты строишь мост и, найдя на другом берегу меня, – приходишь к себе.

Осколки древних амфор

В конце августа 1945 года Вилли Гроаг передал еврейской общине в Праге два чемодана с детскими рисунками из Терезина.

Впервые оказавшись в Израиле в ноябре 1989 года, я по справочной нашла его номер телефона. «Чем могу служить?» – спросил меня Вилли Гроаг. «Хочу поговорить про Фридл». – «Про Фридл? – повторил он задумчиво. – Хоть сейчас. Жду до полуночи и после полуночи». Дело было вечером, мои друзья, люди добрые и разумные, советовали ехать утром. В такое время из Иерусалима в кибуц Маанит можно добраться только на машине. Да и с чего бы старый человек стал приглашать тебя на ночь глядя? «Из-за Фридл», – объяснила я. Спорить было бесполезно, и мои друзья согласились отвезти меня к Вилли.

В кибуце стояла оглушительная тишина. Мы подъехали к одноэтажному домику со светящимся окном. Вилли поджидал нас у входа.

– Гроаг, – представился он, из тьмы глядели голубые глаза. – Вильгельм-Франц-Мордехай, в соответствии с метриками. Должен вас предупредить, моя жена спит. Она встает на работу в пять утра. Будем говорить шепотом.

Мои друзья что-то объяснили Вилли на иврите, пожелали мне всего хорошего и уехали.



Мы вошли в дом, и я по привычке прошла взглядом по стенам. Много картин, но не Фридл. А чьи это скульптуры в стиле чешского барокко?

Я подошла к ним поближе, дотронулась, они были из бумаги, затонированной под тусклую бронзу.

– Это работы моей мамы, – объяснил Вилли. Он не спускал с меня глаз, рассматривал, как художник модель. Он погасил верхний свет и поманил меня к двери. Мы вышли. Светила сумасшедшая луна, пели цикады.

– Поедем в Хадеру, – предложил Вилли, – посидим в кафе, чтобы не шептаться. А потом я уложу тебя спать на диване.

75-летний юноша подвел меня к машине, стоящей под огромным деревом напротив дома. Мы сели и поехали. Снова дорога, уже знакомая, запах из коровника, запах апельсинов, аллея с высокими деревьями, шоссе.

Я спросила Вилли, почему у него три имени.

– Это очень просто. Я родился в Оломоуце в разгар Первой мировой войны. У кайзера Вильгельма было второе имя – Франц. В семье с почтением относились к еврейской традиции. Деда звали Мордехай. Так что мое третье имя – Мордехай. Сложи и получишь – Вильгельм-Франц-Мордехай. Вполне подходящее имя для ребенка, родившегося в буржуазной семье и воспитанного в немецко-еврейской традиции.

Вилли вел машину аккуратно, по-взрослому, я смотрела на него в профиль – нос с резкой горбинкой, твердый подбородок, седая прядь на высоком лбу, – наверняка он знал Фридл, не может быть, чтобы он просто привез чемоданы с рисунками в Прагу.

– Хочешь еще что-нибудь про меня узнать?

– Да. И про Фридл, – вставила я осторожно.

– А кто она такая? Я вообще о ней не слышал, – сказал Вилли и положил мне руку на плечо. – Скверный старикан тебе попался. На ночь глядя заманил в кибуц, везет в Хадеру, говорит о себе. Слово его не интересует ни Москва, ни перестройка, ни Горбачев! Так вот, в 42-м нас всей семьей депортировали в Терезин. Поначалу я работал на строительстве железнодорожной колеи, связывающей лагерь с ближайшей станцией. Потом заделался балагулой. Корнет Кристоф Рильке, поющий в последний раз о любви и смерти... У меня были две белые лошади, необыкновенные – они не умели спать стоя. Приходилось поднимать их по утрам. Ложились белыми, вставали черными! Это была чудесная жизнь – у нас был пропуск на выезд из гетто, так что мы могли кое-что доставать за его пределами. Гешефт! Но тут является Гонда Редлих, просит меня оставить лошадей и перейти работать в детский дом. Я почему-то сразу согласился. Это был большой дом для девочек 12–17 лет. Ну вот, все как в хорошем сценарии. Приехали.

Вилли притормозил у пестрого магазинчика. Около него стояли три белых круглых пластиковых стола и белые пластиковые стулья. Мы сели друг против друга, Вилли в голубой рубашке и голубых джинсах под цвет глаз. Иссиня-черное небо в звездах и апельсиновая луна.

Вилли пошел в магазин и вернулся оттуда с белыми бумажными стаканчиками, в них был кофе, снова ушел в магазин и принес две булки.

– Все, – сказал он, – теперь про Фридл. Спрашивай!

Я спросила, какая она была.

– Да вот такая, – указал он на меня пальцем, – маленькая, как ты, но поплотней, глаза как у тебя, но поширше, а общее выражение – твое, это первое, что я заметил. Глаза, которые рисуют. Есть глаза, которые фиксируют, а есть глаза, которые схватывают, глаза пристрастные, глаза-магниты. Такие у нее были глаза. И у тебя такие. Однажды на занятиях она взяла

у меня альбом (второй раз) и за минуту, не вру, нарисовала в нем лицо акварелью. Несколькими пятнами слепила форму и усадила глаза, и они смотрят, смотрят и смотрят.

– А где альбом?

– Дома. Не волнуйся, завтра все покажу.

Так мы сидели на белых стульях за белым столом и пили коричневую бурду.

– «Боц» – кофе для ленивых израильтян, – объяснил Вилли. – Сыплешь его в стакан, заливаешь кипятком. Фридл написала мне письмо к дню рождения...

– Где оно?

– Наберись терпения! Вот и Фридл такая была – все ей нужно было сейчас же! Я у нее учился на дневных курсах и как-то спросил ее, что мне делать после войны: работать химиком, по профессии, или стать художником. Она тотчас прислала мне целое письмо о том, что такое талант и как с ним быть. Общие размышления. Скорее всего, во мне она таланта не обнаружила. Так что я стал химиком, работаю на кибуцном заводе по производству фруктозы. А в свободное время рисую. У меня даже мастерская своя есть.

– Можно будет посмотреть?

– Все тебе покажу! У нас в роду все художники-любители. И мама Труда, и папа Эмо, и оба моих брата – их работы висят у нас на стенах. Зато мой дядя был профессиональным архитектором, строил виллу вместе с философом Витгенштейном для его сестры в Вене.

– Жакоб Гроаг участвовал и в строительстве теннисного клуба в Вене, вместе с Фридл.

Моя осведомленность сразила Вилли наповал.

– Фридл была знакома с моим дядей? Она никогда мне об этом не рассказывала. При том что я работал в том детском доме, где она жила, видел ее каждый день...

Он видел ее каждый день!

– И в тот день, когда она получила повестку на транспорт?

– Думаю, да. Но у меня в то время была другая история. Мадла, моя первая жена, ждала ребенка...

– А что с ней стало?

– Она родила в лагере, а в 1946 году умерла от полиомиелита, уже здесь, в кибуце. Так вот Фридл не было в списках на транспорт, она записалась туда из-за мужа. Отговорить ее было невозможно! Кстати, имей в виду, моя жена Тамар очень ревнивая, она меня к моим ботинкам ревнует... Вряд ли она обрадуется, увидев тебя утром. Но когда ты позвонила, я подумал: у каждого есть двойник, может, появится вторая Фридл... И не ошибся.

Вилли умолк и уставился на луну. Она была так близко.

И Фридл была близко.

Мы допили кофе, доели булочки.

– Пора, майн кинд, – вздохнул Вилли, – будем вести себя как хорошие дети.

Мы встали, Вилли положил руку мне на плечо. Тот самый Вилли, который привез в Прагу чемодан с детскими рисунками из Терезина, тот самый, который видел Фридл, смотрел на нее теми же глазами. Каждый день.

Все, что рассказывал мне Вилли на протяжении двенадцати лет, рассортировано по разным книгам. Письмо Фридл к нему переведено на разные языки, даже на японский, лицо, которое она нарисовала в его альбоме, увидели посетители выставки на трех континентах.

– И все-таки, майн кинд, если бы не мы с тобой, рано или поздно нашелся бы тот, кто взял бы на себя заботу о детских рисунках и Фридл. Так что мы этого себе в заслугу не ставим, верно?

Вилли любил сослагательное наклонение. Будь у него талант, он бы стал художником. Будь у него свободное время, он бы больше читал. Будь в квартире больше места, привел бы в порядок весь архив.

У Вилли был свой закуток за занавеской, слева от входа в дом. Там хранилось все, что его жена Тамар не хотела видеть в «салоне». В салоне они едят, смотрят телевизор и принимают гостей. Она не собирается превращать свой дом в мемориал!

Обычно я приезжала к четверем, после обеда Тамар и Вилли спали, потом она уходила в бассейн, и мы с Вилли отправлялись в лес. Там, на дне глубоких ямин, сохранились кусочки византийской мозаики, и, когда Вилли еще был в силах, мы осторожно слезали, вернее, скатывались на пятой точке в яму и, согнувшись в три погибели, сгребали сосновые иголки со дна «византийской бани». Потом Вилли доставал из кармана носовой платок и протирал им камешки: «Смотри, как проступает глазурь!»

Иногда мы взбирались по винтовой лестнице на смотровую башню, где в 1948 году держала оборону еврейская бригада, – это Вилли тоже помнил. С башни был виден весь кибуц и арабский город на горизонте, кажущийся издали огромным белым кораблем с мачтами-мечетями.

Внизу, у подножия смотровой башни, стояли враскоряку мраморные ноги – опоры для ворот, поставленных здесь во время царя Ирода. Земля вокруг была полна древностей. «Стоит копнуть, – восхищался Вилли тесным соседством с древней историей, – и обязательно что-то найдешь!» В закутке он хранил огромную чашу с черепками – осколками амфор.

Иногда мы рисовали в лесу, иногда просто так гуляли вокруг кибуца, где в 1946 году ничего не было, а теперь все цвело и пахло магнолиями и апельсинами, хрупкие гранатовые деревья гнулись под тяжестью плодов, мычали коровы, старички разъезжали на маленьких машинках по ровным асфальтированным дорогам. Вилли был социалистом: общая столовая, общая машина, общая прачечная, общая земля; если все это любить и работать во имя общего блага – жизнь прекрасна. Развал кибуцев для него был равен развалу страны. Мысль об этом не оставляла его до самой смерти.

В представлении старого человека, в коего со временем превратился Вилли, родной город Оломоуц и римские развалины сливались воедино. Закуток заполнялся видами Оломоуца и римскими черепками.

Когда Вилли заболел, Тамар уговорила его подарить терезинский архив кибуцному мемориалу «Бейт Терезин», одним из учредителей которого он был. Вскоре и сам Вилли был сдан в архив, то есть переведен в кибуцный дом престарелых, в отделение лежачих. Я навещала его и там. Возила на коляске мимо бывшей мастерской, мимо коровника, там мы сворачивали к лесу и останавливались у тропинки, ведущей к «византийской бане».

– Тормози! – Я нажала на рукоятку, колеса остановились. Как просто! Я села на пригорок, Вилли положил мне дрожащую руку на голову.

– Прямой линии провести не могу, – пожаловался он.

– А ты пастелью рисуй, – посоветовала я ему.

– Пора, майн кинд, – произнес он свою коронную фразу, и мы поехали в корпус.

Последний раз я видела Вилли перед отлетом в Атланту – там открывалась очередная выставка Фридл. Таксист-старичок показывал мне по дороге места боевых сражений, в которых он участвовал, а когда узнал, что я еду прощаться с больным стариком, даже не родственником, то так проникся, что взял с меня половину назначенной суммы. За благое дело.

Вилли спал. Я дотронулась до его руки, и он открыл глаза.

– Не сон ли это! А я думал, ты в самолете, привязаны ремни...

От Вилли остались одни глаза. Как на рисунке, который оставила в его альбоме Фридл.

– Передай ей от меня привет, – сказал Вилли и отключился. Я сидела рядом. Он улыбался, но глаз не открывал. Что-то ему снилось. Может, что я приехала.

Жизнь есть сон, сказал Кальдерон.

Мерцающее пятнышко

...Я сейчас уткнулась в маленькую картину – в пятнышко коричневатых елок – рисую ее из окна. Все возникло из этого пятнышка, которое вдруг резко обозначилось на фоне розового и голубого мерцания снега (розовый стелется по горизонтали, голубоватый – под углом, а темно-синий – стоймя, вертикально уходит в глубокую тень), – деревья такие темные, и потому все за ними выглядит необычайно нежно, а синева вдали еще резче подчеркивает фиолетовую коричневатость... Но это не выглядит скучно, поскольку коричневый – рядом с фиолетовым, и дымовые трубы того же цвета, только еще более интенсивного, – и эти торчки не выпадают из картины, знаешь почему? А потому что светло-коричневое и очень элегантное знамя дыма связывает их с вершиной холма, что напротив. Дым разрезает небо светло-серой полосой – и это как противовес снегу на первом плане... И так я рисую и рисую, вздыхая все чаще, думая о маленьком мерцающем пятнышке, – но где же оно, куда запропастилось?

В поисках мерцающего пятнышка я исколесила полмира, держась в стороне от Биркенанау. Там искать нечего. Но случай привел и туда – мы снимали документальный фильм. Пока наша восьмидесятилетняя героиня взбивала пальцами свои коротко остриженные волосы, слипшиеся в ком за долгую дорогу, пока застегивала и расстегивала молнию на куртке, чтобы было видно розовую кофточку или чтобы ее не было видно, пока оператор с режиссером искали подходящее место для съемок, я шла по закатному полю, по рытвинам и канавам, и так оказалась у леса, знакомого по фотографии.

Уходящее солнце просвечивает сквозь стволы. В глубине меж стволами бродят мужчины, на переднем плане два мальчика. Один, постарше, в кепке набекрень, со скорченным от страха лицом, другой, помладше, как бы уже спит стоя, приоткрыв рот и опустив глаза... Девочка с бантом поджала губы, сомкнула руки на груди. Смотрит прямо на фотографа. Смотрит полными беззвучной мольбы глазами, как и все, застывшие перед нами навеки.

Но мы не застыли навеки, неправда! Мы идем фотографироваться!

Часть первая Пигалица



1. Замерите, фройляйн Дикер!

Вся Вена, от Хангассе до Марияхильферштрассе, любуется господином Дикером и его пятилетней дочерью. Отец в высоком цилиндре с загнутыми полями, в костюме и галстуке, я – в клетчатом платье с пелериной.

А у фройляйн Дикер подол к платью приторочен!

Это платье мне сшила мама! На вырост. Навсегда.

Фриделе, не огрызайся, будь хорошей девочкой! – Он держит меня за руку – и я не вырываюсь. Я буду слушаться. Смотрите все, какие на мне рейтузы, и туфли начищенные. И бант на макушке, и волосы убраны с лица.

В ателье господина Штрауса не церемонятся. Обслуживают молниеносно и качественно. Хвать за подмышки – и вот я уже стою на стуле, а отец рядом.

А вам, господин Дикер, придется развернуться. Левой, еще левой. Фройляйн Дикер, обнимите отца...

Минуточку, битте! – говорит отец.

Он выходит из кадра. Осторожно, словно у него на голове не шляпа, а сосуд с водой, подносит свое тело к зеркалу, расчесывает щеточкой усы и бороду, поправляет пенсне. Подумав, расстегивает пиджак и возвращается на место.

Фройляйн Дикер, замерите и смотрите сюда!

Лысая голова господина Штрауса исчезает под черным пологом – шелк, вспышка. Так и выходят важные господа и пушистые кошечки на стенах... Шелк, вспышка.

Отец спрятал тонкий рот в усы.

Готово! Подождите пять минут!

Отец приставляет ладонь к оттопыренному уху. Сейчас начнется: я потерял жену, потерял слух...

Я потерял жену, потерял слух. Того и гляди потеряю работу.

Фотограф скрылся за черной занавеской, но отцу хоть бы что. Говорит и говорит. Мне всегда было за него стыдно.

Знаете магазин на Блехергассе, 18, неподалеку от Лихтенштейнского парка? Пока он в моих руках, приходите! Альбомы по искусству, детские книги с великолепными иллюстрациями, альбомы для марок, настольные игры, наглядные пособия по математике, чертежные товары, циркули и наитвердейшие в Австрии карандаши, большой выбор бумаги и художественных принадлежностей для школ и техникумов. Даже карманное кино. Разумеется, для детей, никакой эротики – боже сохрани! Только этого не хватало! Если меня уволят, то только из-за Фриделе. Невыносимый ребенок! Юла! Крутится, вертится, все хватает, везде оставляет отпечатки. А вчера, представьте себе, в коробке пластилина были обнаружены самодельные белки и зайцы – вместо шаблонов! Образцы, недостойные подражания. Клиент подал жалобу. Разные бывают клиенты, сами знаете. И дети бывают разные. Бывают симпатичные, клиенты им только рады, ущипнут за щечку, подарят конфетку – и ауфвидерзейн. Но моя не такая! Сами видите. Деваться некуда – я должен ее брать с собой. У нас ведь никого нет...

Все в порядке, – фотограф появляется из-за занавеса. – Вы свободны.

Фриделе, скажи «до свидания».

Не скажу.

Отец протирает надпись на гранитной плите. Рука в черной перчатке, белая тряпка вбирает в себя грязь и становится серой.



Чисто! Все читается:

Каролина Дикер (Фанта)

1865–1902

А что тут читать!

Ранняя весна. На маме Каролине и дедушке Фридрихе уже нет снега. Может, им и тепло в земле. А мне так холодно...

Кто говорил – надо взять на кладбище теплое пальто? Не слушаешься папу!

Зато отец взял с собой маленькую лопаточку и грабельки – когда у меня заняты руки, у него свободна голова. Я вожу грабельками по талой земле.

Сейчас придут черные люди.

Черные люди приходят, запрокидывают головы, и слова у них kloкочут в глотке... Та-та-та – Каролина Фанта... Та-та-та-та-та пришли к тебе... Та-та-та – дочь... Фан-та-та-та...

Улитка! Улитка, улитка, покажи свои рожки! Не показывает. Боится. Или она тоже мертвая? Отец стучит камнем по плите. Я стучу улиткой – мертвым не больно.

В магазине тепло. Пока отец в складской каморке щелкает на счетах, я беру с полки большой альбом. В нем много цветных картинок – дама в берете с тремя собачками на поводке...

Звякает звоночек.

Я бегу к дверям – кто пришел?

Дяденек, которые хватают за щеку костяшками пальцев и манят конфеткой, хочется укуситься. Но я не кусаюсь, просто смотрю исподлобья. Когда я так смотрю, дяденьки уходят из магазина, забыв, зачем пришли. Из-за меня отец теряет клиентов. Я маленькая и всем мешаю. Что из меня выйдет?!

Опять ты взяла альбом! Где он стоял? Фридл, я договорился с одной тетей... Побудешь у нее. Пошли!

Имени тети я не помню, храню в памяти под кодовым названием «Добрая Душа».

Мы идем долго. Так долго, что Добрая Душа успела поседеть и оплыть. Ее тело сделалось мягким и теплым, как размягченный воск, отец рядом с ней выглядел огарком.

Когда отец ушел, Добрая Душа вздохнула. Она развязала бант на моей голове, провела гребнем от загривка ко лбу. Ох да ах – в голове грязь и нечистоты. Придется стричь. Только не бойся!

Не бойся!

Сколько раз я слышала эти слова: «Фриделе, не бойся, мама уснула... Фриделе, не бойся, все умирают...» Я не боюсь. Не боюсь остаться без волос, не боюсь, что мама спит, не боюсь, что все умирают, не боюсь ничего!

Я сижу в большой лохани, в теплой мыльной воде. Хлопнешь ладонями – и вода покрывается мелкими пузырьками. Они переливаются всеми цветами, да в руки не даются... Добрая Душа рядом, вырезает из розового хрустящего тюля ленточку. Теперь у меня будет новый бант из такого же материала, как занавески на окнах. И если я случайно намочу или испачкаю его, не беда, этого добра у нее много.

Она зачерпывает ковшом теплую воду из ведра, подбавляет в лохань – и пузыри взлетают. Они искрятся в воздухе – и я ловлю их в ладони.

Добрая Душа не умела читать, но знала, что всему предшествовал хаос. Полное ничто – ни ночи, ни дня, ни человека, ни муравья, ни ветки, ни почки, а зато потом всего стало очень много. Первые люди по неопытности радовались изобилию, но потом заелись и стали хотеть еще и еще, из-за этого и появились на свет плохие люди и скверные явления. Не про нас будь сказано.

Она была сильной, одной рукой отодвигала тяжелый диван, чтобы вымести из-под него пыль, и при этом говорила и говорила. А мне и сказать-то нечего – кто я такая? Пигалица,

от горшка два вершка. Отец говорит, что мать умерла из-за меня – я не слушалась, не спала, капризничала. Но я ему не верю. Я сама видела, как одна девчонка дергала мать за юбку и орала, и ее мать от этого не умерла.

Когда сумерки сгущались, Добрая Душа включала лампу в центре комнаты, над столом, и лампа светила во все стороны. У нее не было ни торшера у кровати – газет она не читала, ни ночника, который вспыхивал желтым светом всякий раз, когда отец вставал по нужде. Добрая Душа не вставала по нужде, стало быть, ночник ей был не нужен. Она не запикивала свет ни в колпаки, ни в абажуры.

Мне разрешили лепить под столом, и я лепила людей, похожих на людей, и зверей, похожих на зверей. Трудно лепить живое. В руках лошадь двигается, поставишь ее – замирает. А что, если не смотреть, отвернуться? И тогда лошадь взмахнет ногой, стукнет копытцем... Я сидела под куполом – скатерть с кистями свисала почти до пола – и показывала невидимым зрителям цирковые номера – скачки по кругу, жонглеров с шариками, фокусы со шляпой...

Я лепила, а Добрая Душа вязала. Клубок из большого превращался в маленький, и разговоры ее были как вязание, петля за петлей, слово за словом, ряд за рядом, фраза за фразой, кто-то когда-то ее любил, да разлюбил, осталась она одна, днем звенит тазами в лавке, вечером вяжет. Вязание – вот еще чем она меня приворожила. Она сидит как вкопанная, как памятник на площади, только спицы в руках ходят, и из-под рук выползает вязка по имени «боковушка», то есть боковая часть кофты.

Вышли бы за моего отца, была бы у меня мама.

Добрая Душа рассмеялась так, что клубок у моих ног запрыгал: – Какая от твоего отца любовь! А тебя бы взяла. Придет за тобой, проси!

Отец пришел за мной, я его попросила. Он закусил нижнюю губу и повел меня за руку к двери.

У нас нет денег на няnek!

Но я ведь хотела Добрую Душу в мамы, а не в няnek! Но он меня не услышал. Со мной он часто бывает глухим, а в магазине слышит всех. Кстати, завезли партию цветных карандашей, какой-то набор оказался бракованным – в нем не хватало одного коричневого. Из трех. Продавать нельзя, только дарить, и только – мне! Даже белый есть в наборе. Один. Не бывает разных белых. А за ним желтый, как яичный желток, желтый, как лимон, желтый, как песок...

Теперь все, к чему ни прилеплялись мои глаза, оказывалось у меня в руках. Цветные карандаши... Они были незаточенными, и отец дал мне точилку. Молча, без причитаний. Я уютно расположилась в своем углу, в подсобке, постелила оберточную бумагу на пол – сточенный грифель я потом ссыплю в кулек – и вставила белый карандаш в отверстие. Я крутила его, тонкая зубчатая лента с белой окантовкой вилась спиралью, освобождая грифель... Вот проклеывается цвет в форме остроугольных конусов – светло-красных, вишневых, алых, – поточенный карандаш занимает свое место, на смену ему вышагивает другой, засовывает голову в дырку... Такими карандашами можно рисовать только на хорошей бумаге, плотной, с меленькими, почти незаметными пупырышками.

Не трогай, запятнаешь! Это дорогая бумага, для богатых. Бедные художники рисуют на тонкой, оберточной или упаковочной.

Меня обуял гнев. Я затопала, завизжала.

Гадкий ребенок! Что ни дай – все мало!

Раз так – буду рисовать только на плохой. И что же? С моих угольных набросков летит черная пыльца, с полотен, кем-то скатанных в трубки, падает краска, пастель проедена тлей и древесным жуком.

По выходным отец «выгуливал» меня в сквере, неподалеку от дома. Выгуливал! Если бы... Он садился на скамейку и клевал носом, а я смотрела во все глаза на детей, как они крутят веревочку и укачивают лялек в игрушечных колясках. Я не хотела играть. Тогда отец купил мне целлулоидного пупса – чтобы вместе с ним, законно, войти в детский коллектив. Этот пупс был хуже мертвых. Я пыталась оживить цветными карандашами каждую клеточку его холодного тела. Наслюнявишь – точка, наслюнявишь – точка. Я выкрасила мочалку и прикрепила ее к целлулоидной башке. Я раскрасила ему глаза и нарумянила щеки, но он не оживал.

Я вынесла его на руках подышать воздухом, я держала его на солнышке, чтобы он опомнился. Нет! Надо было похоронить пупса сразу, еще до того как он, размалеванный, будет осмеян детьми. Ну и пусть смеются! Мы с пупсом отошли в сторонку и уселись на скамейку, рядом с нарядной фрау.

Какой миляшка! – Нарядная фрау прикоснулась мизинцем к целлулоидному лбу. Ей явно приглянулся мой пупс. А мне приглянулась она, вернее, тени от цветного зонта на ее белом платье. Пусть бы она стала моей мамой!

Отец дремал. Лицо его было спокойным, наверное, ему приснилось, как я подружилась с детьми и катаю пупса в чужой игрушечной коляске. Я разбудила отца и подвела к нарядной фрау. – Познакомьтесь! – Шарлотта Шён, очень приятно. – Я вложила руку отца в руку Шарлотты Шён.

Таинственная прелесть Шарлотты испарилась в ту же секунду, как она закрыла цветной зонт и, опираясь на него, вошла в наш дом в сопровождении носильщиков. Новый разлапистый шифоньер стал спиной к моей кровати, а два сундука с одеждой внесли в жилье запах ванили и нафталина. Отец все больше становился похожим на ворона, а Шарлотта – на сороку. Две птицы. Он каркает, она стрекочет. В их слаженном дуэте – «Куда пошла? Куда она пошла?», «Когда придешь? Когда она придет?» – фразы двоились, второе лицо менялось на третье.

Я искала мать, но нашла жену отцу, и, как позже выяснилось, неподходящую. Вернее, неподходящим был мой отец. Он так орал на Шарлотту, так над ней измывался, что мне приходилось вставать на ее защиту. Какая гадость – семейная жизнь! Наверное, мама Каролина, поняв это, умерла с горя.

А ночью они ворковали: «Шарлоттеле! Симонке! Пуппеле-муппеле!» Язык-дразнилка. Только бы у них не было детей! Мысль о сестре или брате лишала сна, и я вслушивалась в возню за шифоньером.

Они вздыхали и охали, а Шарлотта иногда визжала. Эко дело! Какие там секреты? Понятно, что им это нравится. Два голых тела, прижатые друг к другу, – приятно. Даже когда сама себя гладишь, приятно.

Днем они ругались по-немецки, а ночью шептались на идише. Идиш – язык ночи. Я его забыла.

2. Чем больше смотришь на часы, тем меньше остается времени

Меня отдали в школу за углом. Я могла ходить туда сама. Всех ведут за ручку, я – сама. Самое интересное в школе – это дорога к ней. Спозаранку голодные глаза поедом едят все, что попадает на пути; не разжевывая, заглатывают разлапистый красный лист с жилками вен, корявый ствол, обвитый своими же корнями, желтые гроздья акаций вместе с узорчатыми листьями-перьями, трубу в гармошку, высывающуюся из окна, голую проволоку на балконе. Вчера она прогибалась под тяжестью наволочек и простыней, а сегодня выпрямилась, натянулась, сегодня она свободна. «Не смотри по сторонам, бери пример с отца, он никогда не опаздывает!»

Чем быстрее идешь, тем меньше видишь. Разве скорый поезд способен разглядеть дома и деревья? Он несется по расписанию.

Такая же жизнь и у взрослых – каждые пять минут они смотрят на часы, только художники живут без времени, и если подумать – а думать некогда: звенит звонок, и я тяну на себя тяжелую ручку двери, – чем больше смотришь на часы, тем меньше остается времени.

Чтобы ко мне не цеплялись, я аккуратно выполняла домашние задания. Расположение одноклассниц покупалось за ластик, любовь и восхищение – за карманный фильм про лягушку, на глазах превращающуюся в принцессу. Мы девочки-лягушки, но мы станем принцессами, есть перспектива!

Арифметика лучше всего усваивается на свежую голову. Девочка вышла из школы в девять ноль-ноль, а домой пришла в девятнадцать ноль-ноль. Сколько минут занял путь от школы до дому? Где же она столько времени пропадала? А это уже задача не арифметическая.

В тяжелых ботинках на шнуровке я обгоняю фаэтоны, запряженные лошадьми, бегу и не могу остановиться – откуда эта волшебная легкость? Передо мной расступаются улицы и прохожие. Ветер растаскивает облака, и в небесной пряже появляются синие дыры. Они уменьшаются на глазах, затягиваясь облачной пеленой, небо становится свинцовым. В Саду роз выплескивается из медных труб вальс.

Концерты в прохладе парков – черно-белые мужчины и разноцветные дамы, их одежда сливается с вывесками на музейных фасадах – отпечаток картины Климта, выставка группы «Сецессион», графика Шиле... Прошмыгнуть в кафе, полюбоваться на соцветия плафонов и бежать – набраться духу и подняться по широким ступенькам Музея искусств, просочиться без билета и там увидеть «Крестьянскую свадьбу» Брейгеля – сколько людей, и у каждого – свое лицо, и все они на картине двигаются – едят, кормят тощих собак... Как это сделано?!

В больших книжных магазинах можно брать с полки любые альбомы и рассматривать их сколько душе угодно. Как написана прозрачная одежда на голой Юдифи? Кто придумал сфинксов и человекоптиц с острыми клювами? Как сделаны пальцы ног на египетских рельефах? А пирамиды? А статуи майя? По каким лестницам взбирались в небо мастера, чтобы придать камню форму?

Жизнь – это рай! Рай, изображенный на картинах, разве не похож на этот сад? Все срисовано с Жизни. Небеса, цветы, ангелы, да и сам Господь Бог. Но и Ад списан с Жизни, с ее битв и пожаров. Рай стабилен, Ад видоизменяется с развитием цивилизации.

Маленькая девочка с ранцем за спиной разгуливает по городу – и никому до нее дела нет. Как бы не так! У мраморной глыбищи по прозвищу «Дом с бровями» меня засекала учительница.

Фройляйн Дикер! Что вы тут делаете?

Ничего. Прогуливаюсь и прислушиваюсь к чужим разговорам. Одни ругают Лооса – плюнул в самое сердце Вены, другие хвалят – явился тот, кто положит конец безобразным излишествам декора.

Фройляйн Дикер, вы любите своих родителей?

Нужно было что-то ответить. Я сказала, что думаю. Что пока еще никого не люблю.

Никого на свете?

Я кивнула, а про себя подумала: ну, разве что Добрую Душу. Да и то, если бы мне сказали, что Добрая Душа умерла, я бы не заплакала.

Вы в ответе за свои слова? – учительница грызла красные губы белыми зубами и смотрела на часы, кажется, она спешила.

Я дала клятвенное обещание – завтра обязательно приду в школу и отвечу за свои слова.

Как проверить, любишь ты человека или нет? Очень просто. Представить, что его засыпают землей и что больше ты никогда его не увидишь. Я не раз засыпала землей отца и Шарлотту, учительницу и одноклассниц – ни слезинки. Пожалуй, отца все-таки жаль, но не до слез.

Не плачется. Оказывается, слезы проходят долгий путь: слезные ручейки текут в слезные озера, которые находятся в углах глаз, есть в них и слезные сосочки, и слезные каналы, и даже слезные мешки – накопители соленой влаги. Мои слезы, скорее всего, пересыхают в озерцах. С чего я это взяла? Скажу. Однажды мне в глаз залетела мошка и ни за что не хотела улетать. Шарлотта вывернула мне веко наизнанку – пальцы у нее грубые, как терка. Глаз у меня так покраснел, что даже Шарлотта испугалась. А мошке хоть бы что, затаилась в углу, наблюдает закат. Поплачь, Фриделе, слезами вымоет. Но вот этого-то я не могу сделать. Шарлотта! Столько лет прожить с нами – я уже не помню, что было, когда ее не было, – и не заметить такую особенность. Выручила пол-литровая клизма – напор струи вынес мошку вон из глаза.

Это событие обсуждалось поздним вечером за шифоньером. Они громко шептались, не хочешь слышать – услышишь: «Как так, девочка не плачет? – Вот так. – А когда родилась? – Конечно, все маленькие плачут». Будто у него было сто маленьких, а не одна-единственная дочь! «Она перестала плакать, когда умерла Каролина. – А на кладбище?!» Ну и дурища эта Шарлотта! Что мне в ней понравилось? Остроугольные тени от зонта на белом платье! И что она пожалела целлулоидного пупса. Безжалостной ее никак нельзя назвать, это правда. «Бедная девочка, такое горе, и не залить его слезами даже на кладбище!»

Где складываются покойники, я знала прекрасно, но вот где складываются впечатления, память об увиденном – неужели в извилинах мозга? Как же там может столько всего уместиться, если впечатления накатывают друг на друга, как волны, одно смывает другое. Наука о самом человеке, ну хотя бы о том, что у него есть сознание и подсознание, и отголоском не коснулась моих ушей. Может, я бы успокоилась, прочитав у Юнга о том, что человек ничего не забывает и что все, чем он на данный момент не пользуется, бережно хранит подсознание.

Что, если бы вместо задачника мне дали книгу Юнга об архетипах, смогла бы я понять, что там написано? Ведь я понимала абстракции, и, для того чтобы решить уравнение, мне не нужно было воображать несущиеся навстречу друг другу поезда, вышедшие из Вены и Берлина в такое-то время. И чтобы вычислить разницу в скорости движения, не нужно было представлять ни сами эти города, ни вокзалы, ни перроны, ни пассажиров, ни проводников. Лишь дважды поделить путь на время и отнять из большего меньшее. Я умела строить графики и доказывать теоремы. Пифагоровы штаны на все стороны равны!

А что, если изучить одно явление – например, рост цветка? И тогда тайна сущего откроется мне, как Пифагору – формула развертки!

Гортензии поблизости не было, зато у школьного забора росла ромашка. Из пышного соцветия я выбрала один цветок и устремила неподвижный взгляд на его тоненькие беленькие лепестки. Они были полуоткрыты, так что ждать оставалось недолго. Вот так я и окажусь свидетелем превращения радиального движения в круговое и тогда уже точно смогу нарисовать движение любой формы изнутри, из самой сердцевины! Угол между желтой сердцевинкой и кончиком лепестка сократился. Или мне это кажется? Только бы выдержать! Не думать, не отвлекаться, смотреть, не отводя глаз...

«Фройляйн Дикер в обмороке! Она потеряла сознание, но все еще жива! О, мейделе, о, пуппеле! Ты б его видела, на нем не было лица!» Шарлотта частенько припоминала мне эту историю – вот как любит меня отец, так любит, что потерял собственное лицо.

Так может, безликий на картине вовсе не Ленин, а мой отец?

А на коне – не Дон Кихот, а сам Всевышний! (И впрямь, семитское его лицо имеет явное сходство с Христом!) Всевышний возложил длань на плечо отцу, и тот, вслепую, тычет перстом в развертку Пифагора и гортензию. Мол, сам он далек от решения сложных задач, он лишь передает сообщения, выполняет волю Всевышнего.

Работа «Дон Кихот и Ленин» написана в 40-м году.

9.12.40. Мой отец тяжело болен... Ему 84 года, и я боюсь, учитывая все сложности, больше его не увидеть. Мы всю жизнь существовали порознь...

И впрямь, люди, которые меня тогда окружали, не падали в обморок от желания проникнуть в тайну Видимого. Но не может быть, чтобы я была единственным экземпляром такого рода!

В классе мне был объявлен бойкот. Пока я наблюдала за ромашкой, кто-то достал из моего ранца тетрадь, где я тайком рисовала карикатуры, и передал учительнице.

«Это останется на совести фройляйн Дикер, – сказала учительница, возвращая мне тетрадь, – впредь никаких рисунков на уроках».

Учительница всегда вела себя безукоризненно, она служила всем нам живым примером, почему же на моем рисунке она превратилась в лошадь с покрашенными губами?

Я – самая маленькая в классе, я замыкаю колонну. Учитель физкультуры обозвал меня пигалицей, и все радостно подхватили: пигалица, пигалица!

Я возненавидела школу вместе с дорогой. Корявый ствол, оплетенный корнями, акацию с желтыми шариками, цветное белье на веревке – не пойду! Не хочу ничего! Какая скука! Утром грохот посуды, подъем, тусклый свет, отец выбривает треугольники на щеках, расчесывает бороду – колючий клин, привязанный к вискам! А что бы Шарлотте, вместо того чтобы резать хлеб и мазать его маргарином, не вырядиться с утра в белое платье с воланами, не раскрыть над головой цветной зонтик... Нет, они делают одно и то же, одно и то же, и это такая скука, от одной только скуки можно состариться и умереть.

Фриделе! Вставай! Фриделе, ты опоздаешь!

Но я не могу встать. Голова горит, глаза сами собой закрываются. Я заболела. Под кроватью горшок, на стуле стакан с водой. Но и на горшок не сесть без помощи Шарлотты. Ждали сыпи – не высыпала, смотрели в горло – не краснеет, ждали нашествия желтизны – не желтею. Вызвали врача. Он велел наблюдать за ходом болезни. А чем же мы еще занимаемся!

Мы ждем симптомов, а ребенок уже не стоит на ногах...

Отец принес мне краски в тюбиках. Не знаю, как он до этого додумался, книгу про доктора, который неизлечимо больной девочке подарил куклу и тем исцелил ее, он явно не читал, он вообще ничего не читал, кроме «Биржевых новостей».

Фридрих Фанта, отец моей матери, был биржевым маклером. В память о нем меня и назвали Фредерикой. «Биржевые новости» отец из уважения к мертвецу читал от корки до корки, после чего в них заворачивались бутерброды, ими разжигали печь и даже подтира-

лись. Салфетки – для гостей. Гости у нас не водилось, так что салфетки могли не волноваться – их никто не запачкает.

Стоило отвинтить металлическую крышечку с зазубринками и легонько надавить пальцем на гладкую кожу тюбика, и из его кругленького рта выплевывалась краска. Ее запах вызывал во мне такой аппетит, что Шарлотта не успевала мазать хлеб маслом.

Как, еще? – всплескивала она руками. В этом жесте были радость и горечь – девочка поправляется, но как ее прокормить? Я ела, рисовала и спала. Мне снились ярчайшие сны. Просыпаясь, я хваталась за краски, выдавливала их на тарелку, обмакивала в воду кисть и забывалась сладчайшим сном наяву. Что я рисовала? Думаю, это были вдохновенные картины. Но и их постигла участь «Биржевых новостей». Ими, правда не подтирались – бумага была слишком жесткой, но разжигали печь. Кажется, вся моя живопись была тоской по тем ярким снам наяву. Как они пылали в огне! Я видела, как коричневеют их края, как они скукоживаются и исчезают в языках пламени.

И вот я расхаживаю по комнате. Тело, перенесшее неопознанную болезнь, сделалось тяжелым. Больно дотрагиваться до груди – она набухла, и уж совсем противно – из меня каплет кровь. Что делать? Не засовывать же между ног «Биржевые новости». В поисках чистой тряпки я влезла в Шарлоттин сундук. Шарлотта меня застучала. И сразу все поняла.

Женские дела! Каждый месяц – кровь. Без этого не родишь. Цах ве адом – так говорила бабушка, да будет земля ей пухом. «Цах» на иврите – белый, «адом» – красный, а «ве» – соединение. Во время зачатия белое семя мужчины попадает в красную кровь женщины. Белое и красное соединяются...

И получается розовое!

Получается ребенок!

Какая гадость!

Типун тебе на язык. Разве можно говорить на ребенка «гадость»!

Цах ве адом! Я бегу, отдуваясь, к трамваю, вскарабкиваюсь на подножку – жирная, отвратительная каракатица с куском ваты в штанах! Женские дела! Каждый месяц – кровь. И у учительницы, и у девочек в нашем классе – у всех женщин без исключения. Без этого не бывает детей. Тут бы и заплакать!

Дождь струится по матовым, изнутри запотевшим окнам, вода рисует свои текущие узоры, а на картине измученные жаждой путники пьют и пьют, зачерпывают воду кувшинами и кружками, а рогатые козлы пьют прямо из лужи. Моисей вывел народ к источнику. Посох у него тонкий – как таким пробить скалу? Из скалы брызжут струи, росчерки белой краски – женщина спиной к нам в желтой одежде, а шаровары у нее светло-вишневые, потому что она рядом с девушкой в вишневом, та, что в желтом, держит малыша, виден лишь его зад. Весь малыш не поместился. Картина-то маленькая!

Когда отойдешь подальше, становится отчетливо видно круговое движение. Вдалеке серая очередь, ей еще долго плестись к источнику, а хочется поскорей, и измученные жаждой серые фигурки толкаются, а один даже схватил другого за карман, следующий круг – это те, что уже видят воду, но не могут к ней подобраться, смотрят с завистью на тех, внизу, пьющих с наслаждением, тем бы уступить место, но они дорвались и не видят ничего, кроме себя и своей воды... Моисей доволен – сколько лет таскал он этих мучеников по пустыне, и сам устал, и их извел. И вот наконец-то народ его ненаглядный умылся и сверкает на солнце.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.